

IX. К анархии.

Суббота, 24 марта.

Совет узнал, что король Англии предлагает убежище императору и императрице на британской почве. По требованию „большевиков“, Временное Правительство вынуждено обещать не выпускать из пределов России свергнутых царя и царицу. Совет, кроме того, назначил комиссара для контроля за заключением императорской фамилии.

С другой стороны, Центральный Комитет Совета принял вчера следующие постановления:

- 1) Немедленное открытие переговоров с рабочими враждебных государств;
- 2) „Систематическое братание“ русских и неприятельских солдат на фронте;
- 3) Демократизация армии;
- 4) Отказ от всяких завоевательных планов.

Это нам обещает недурные дни.

В шесть часов я отправляюсь в Мариинский дворец с моими коллегами Бьюкененом и Карлотти, чтобы принять участие в церемонии официального признания Временного Правительства.

Это—прекрасное здание, подаренное некогда Николаем I своей любимой дочери, герцогине Лейхтенбергской, сделавшееся затем местопребыванием Государ-

ственного Совета, имеет уже другой вид. В вестибюле, где раньше благодушествовали лакеи в пышной придворной ливрее, оборванные, грязные, наглые солдаты курят, валяются на скамейках. С начала Революции большая мраморная лестница не подметалась. Тут и там разбитое стекло, царапина от пули на панно свидетельствуют о том, что на Исаакиевской площади происходил жаркий бой.

Нас никто не принимает, несмотря на торжественность акта, который мы будем совершать.

Я вспоминаю тут же церемонию „в августейшем присутствии его величества императора“. Какой порядок! Какая пышность! Какая иерархия! Если бы оберцеремониймейстер барон Корф или его оруженосцы: Толстой, Евреинов, Куракин увидели бы нас теперь, они упали бы в обморок от стыда.

Приходит Милюков; он вводит нас в один салон, потом в другой, потом в третий, не зная, на чем остановиться, ища на стенах ощупью электрическую кнопку, чтобы осветить комнату.

— Здесь,—говорит он нам, наконец,—здесь, я думаю, нам будет удобно.

И он отправляется за своими коллегами, которые тотчас являются. Все они в рабочих пиджаках с портфелями под мышками.

После Бьюкенена и Карлотти, которые старше меня, я произношу торжественную фразу:

— Имею честь объявить вам, господа, что правительство Французской Республики признает в вас Временное Правительство России.

Затем, по примеру моих английского и итальянского коллег, я приветствую несколькими теплыми фразами

новых министров; я настаиваю на необходимости продолжать войну до конца.

Милюков отвечает самыми успокоительными уверениями.

Его речь достаточно пространна, чтобы дать мне время рассмотреть этих импровизированных хозяев России, на которых тяготеет такая страшная ответственность. Одно и то же впечатление патриотизма, ума, честности остается от всех. Но какой у них обессиленный вид от утомления и забот! Задача, которую они взяли на себя, явно превосходит их силы. Как бы они не изнемогли слишком рано! Только один из них, кажется, человек действия: министр юстиции Керенский. Тридцати пяти лет, стройный, среднего роста, с бритым лицом, волосы ежиком, с пепельным цветом лица, с полупущенными веками, из-под которых сверкает острый и горячий взгляд, он тем более поражает меня, что держится в стороне, позади всех своих коллег: он, повидимому, самая оригинальная фигура Временного Правительства и должен скоро стать его главной пружиной.

Одним из самых характерных явлений революции, только-что свергнувшей царизм, это—абсолютная пустота, мгновенно образовавшаяся вокруг царя и царицы в опасности.

При первом же натиске народного восстания все гвардейские полки, в том числе и великолепные лейб-казаки, изменили своей присяге в верности. Ни один из великих князей тоже не поднялся на защиту священных особ царя и царицы: один из них не дождался даже отречения императора, чтобы предоставить свое войско в распоряжение инсurreкционного правительства. Наконец, за несколькими исключениями, тем бо-

лее заслуживающими уважения, произошло всеобщее бегство придворных, всех этих высших офицеров и сановников, которые в ослепительной пышности церемоний и шествий выступали в качестве прирожденных стражей трона и присяжных защитников императорского величества. А между тем, долгом не только моральным, но военным, прямым долгом для многих из них было окружить царя и царицу в опасности, пожертвовать собой для их спасения или, по крайней мере, не покидать их в их великом несчастии.

Я наблюдал это еще сегодня вечером на интимном обеде у г-жи Р. По происхождению или по должности все приглашенные, человек двенадцать, занимали очень видные места в исчезнувшем режиме.

За столом, за первым же блюдом, смолкает гул отдельных разговоров. Завязывается общий разговор о Николае II. Несмотря на его настоящее тяжелое положение, несмотря на страшные перспективы его ближайшего будущего, все акты его царствования подвергаются самому суровому осуждению; его осыпают упреками за старое и недавнее прошлое. Так как я, тем не менее, выражаю сожаление по поводу того, что видел, как скоро его покинули его друзья, его гвардия и двор, г-жа Р. не утерпела:

— Да, это он нас покинул; он нас предал; он не исполнил своего долга; это он поставил нас в невозможность защищать его. Не его предали родня, гвардия и двор, а он предал весь свой народ..

Французские эмигранты рассуждали точно также в 1791 г.; они тоже полагали, что Людовик XVI, предавший королевское дело, должен был пенять лишь на себя за свое несчастье. И его арест, после бегства в Варенн, мало огорчил их. Один содержатель гости-

ницы в Брюсселе говорил одному из них, который, в виде исключения, оплакивал это событие: „Утешьтесь, мосье, этот арест—не такое большое несчастье. Сегодня утром у графа д'Артуа был, правда, вид несколько опечаленный; но другие господа, которые сидели с ним в экипаже, казались очень довольными“.

Воскресенье, 25 марта.

Я решил дать на этих днях банкет Временному Правительству, чтобы завязать с ним более близкие отношения и дать ему публичное выражение симпатии. Во всяком случае, прежде, чем разослать приглашения, я считал благоразумным неофициально предупредить кое-кого из министров. И хорошо сделал.. П., взявший на себя задачу позондировать почву, ответил мне сегодня, что моим вниманием очень тронуты, но боятся, что оно будет дурно истолковано крайними элементами, и просят меня отложить осуществление моего проекта.

Этой подробности достаточно было бы для того, чтобы показать, насколько Временное Правительство робко по отношению к Совету, как оно боится высказаться за союзников и войну.

Впрочем, на вибрирующий от патриотизма призыв, с которым французские социалисты обратились 18 марта к своим русским товарищам, Керенский недавно ответил телеграммой, которая, я надеюсь, не оставит у „французской демократии“ ни малейшей иллюзии о концепции, созданной себе „русской демократией“ об Альянсе и о войне ¹⁾.

¹⁾ Телеграмма русского министра юстиции, посланная Жюлю Геду, члену французской палаты депутатов в Париже:

Я глубоко тронут братским приветом, с которым вы вместе с Марселем Санба и Альбером Тома обратились ко мне.

Временное Правительство известило Совет о том, что, с согласия Бьюкенена, оно воздержалось от передачи императору телеграммы, которой король Георг предложил императорской фамилии убежище на британской территории.

Упорствуя, однако, в своем недоверии, Исполнительный Комитет Совета расставил „революционные“ посты в Царском Селе и на всех расходящихся от него дорогах с целью помешать, чтобы царь и царица не были увезены тайком.

Понедельник, 26 марта.

Художник и историк искусства, Александр Николаевич Бенуа, с которым я поддерживаю частые и дружеские сношения, неожиданно зашел ко мне. Родом из французской семьи, поселившейся в России около 1820 года, это—один из образованнейших людей, каких я знаю здесь, и один из самых почтеннейших. Я провел много прелестных часов в его ателье на Васильевском острове в беседе с ним *de omni re scibili et quibusdam aliis*. Даже с точки зрения политической бе-

Мы никогда не сомневались в полной симпатии и моральной поддержке, которые мы встречаем в нашей борьбе со стороны французского социализма.

Русский народ свободен. Благодаря жертвам, принесенным рабочим классом и революционной армией, уничтожен русский царизм, который всегда служил оплотом всемирной реакции. Народ сам теперь будет строить свою жизнь.

Приветствуя героические усилия республиканской и демократической Франции для защиты родной земли в единодушной резолюции о доведении войны до конца, достойного демократии, русские социалисты верят в интернациональную солидарность трудовых классов в борьбе за победу и над реакционным и насильственным империализмом и за связанный с нею мир, столь необходимый для развития человеческой личности.

А. Керенский,

министр юстиции, товарищ председателя
Совета Рабочих и Солдатских Депутатов.

седа с ним часто была для меня драгоценна, потому что у него много связей не только с цветом представителей искусства, литературы и университетской науки, но и с главными вождями либеральной оппозиции и „кадетской“ партии. Не раз я получал через него интересные сведения об этих слоях общества, куда еще недавно мне так был труден, почти воспрещен доступ. Его личное мнение, всегда основательное и глубокое, имеет тем больше цены в моих глазах, что он—в высшей степени характерный представитель того активного и культурного класса профессоров, ученых, врачей, публицистов, представителей искусства и литературы, который называется интеллигенцией.

Итак, он сегодня зашел ко мне около трех часов как раз, когда я собирался уйти. Он серьезен и садится с усталым жестом:

— Извините, что я вас беспокою. Но вчера вечером несколько моих друзей и я были взволнованы такими мрачными идеями, что я испытываю потребность сообщить их вам.

Затем в поразительной и, к несчастью, слишком верной картине он описывает мне результаты анархии в народе, апатии в правящих кругах и недисциплинированность в армии. И в заключение заявляет:

— Как ни тяжело для меня это признание, я думаю, что выполняю некий долг, заявляя вам, что война не может дольше продолжаться. Надо возможно скорее заключить мир. Конечно, я знаю, честь России связана ее союзами, и вы достаточно знаете меня для того, чтобы поверить, что я понимаю все значение этого соображения. Но необходимость—закон истории. Никто не обязан исполнять невозможное.

Я ему отвечаю:

— Вы только - что произнесли очень серьезные слова. Чтобы опровергнуть их, я стану на точку зрения совершенно объективную, как мог бы сделать человек нейтральный, беспристрастный и незаинтересованный, значит, оставляя в стороне моральный приговор, который Франция имела бы право вынести России... Прежде всего знайте, что что бы ни случилось, Франция и Германия будут вести войну до полной победы. Банкротство России, вероятно, затянуло бы борьбу, но не изменило бы результата. Как бы быстро ни пошло разрушение вашей армии, Германия не решится, однако, немедленно обнажить ваш фронт; ей нужны были бы, впрочем, значительные силы, чтобы обеспечить себе на вашей территории новые гарантии. Двадцати или тридцати дивизий, которые она могла бы снять с восточного фронта, чтобы усилить свой западный фронт недостаточно было бы для того, чтобы избавить ее от поражения. Затем можете не сомневаться, что в тот день, как Россия изменит своим союзникам они от нее откажутся. Следовательно, у Германии была бы полная свобода компенсировать на ваш счет жертвы, к которым вынудили бы ее с другой стороны. Я, конечно, не предполагаю, что вы возлагаете какую бы то ни было надежду на великодушные Вильгельма II... Вы потеряли бы таким образом, по меньшей мере, Курляндию, Литву, Польшу, Галицию и Бессарабию; я уже не говорю о вашем престиже на Востоке и о ваших планах на Константинополь. Что касается Франции и Англии, не забывайте, что у них остаются огромные гарантии по отношению к Германии: господство над морями, немецкие колонии, Месопотамия и Салоники... Наконец, ваши союзники обладают, сверх того, финансовым могуществом, которое будет удвоено, утроено

помощью Соединенных Штатов. Мы можем поэтому продолжать войну так долго, как понадобится... Итак, каковы бы ни были трудности настоящего момента, соберите вашу энергию и не думайте ни о чем, кроме войны. Дело идет не только о чести России; дело идет о ее благосостоянии, величии и, может быть, о ее национальной жизни.

Он продолжает:

— Увы! Я ничего не нахожу, чтобы вам ответить. А между тем, мы не в состоянии дольше продолжать войну. Право же, мы больше не в состоянии.

С этими словами он покидает меня со слезами на глазах. Вот уже несколько дней я везде констатирую тот же пессимизм.

Вторник, 27 марта.

Еще 14 марта, т. е. еще до отречения императора и образования Временного Правительства, Совет обнародовал приказ по армии, приглашающий войска немедленно приступить к выборам представителей в Совет Рабочих и Солдатских Депутатов. Этот приказ, кроме того, устанавливал, что в каждом полку должен быть избран комитет, чтобы обеспечить контроль над употреблением всех родов оружия: винтовок, пушек, пулеметов, блиндированных автомобилей и пр.; ни в коем случае употребление этого оружия не могло зависеть от офицеров. В заключение приказ отменял все внешние знаки отличия и предписывал, чтоб впредь „все недоразумения между офицерами и солдатами“ разбирались ротными комитетами. Этот великодушный документ, подписанный Соколовым, Нехамкесом и Скобелевым, в тот же вечер был разослан по телеграфу на все фронты; передача по телеграфу

была бы, впрочем, невозможна, если бы повстанцы не заняли с самого начала бюро военного телеграфа.

Как только Гучков вступил в управление военным министерством, он стал стараться заставить Совет отменить необычайный приказ, равносильный ни больше, ни меньше, как разрушению всякой дисциплины в армии.

После долгих переговоров Совет согласился заявить, что приказ не будет применен в войсках на фронте. Осталось, тем не менее, моральное действие от его опубликования. И по последним телеграммам генерала Алексеева, недисциплинированность делает страшные успехи в войсках на фронте.

Я с болью думаю о том, что немцы в восьмидесяти километрах от Парижа...

Среда, 28 марта.

Новый манифест Совета, который обращается на этот раз к „народам всего мира“. Это бесконечное извержение напыщенных слов, длинный мессианический дифирамб:

— Мы, рабочие и солдаты России, возвещаем вам великое событие, русскую Революцию, и обращаемся к вам с горячими пожеланиями... Наша победа—великая победа всемирной свободы и демократии... И мы прежде всего обращаемся к вам, братья-пролетарии германской коалиции. Сбросьте, следуя нашему примеру, ярмо вашей полу-самодержавной власти, не соглашайтесь более быть орудием завоевания в руках ваших королей, помещиков, банкиров и пр.

Я жду ответа германского пролетариата.

Четверг, 29 марта.

С момента крушения царизма все митрополиты, архиепископы, епископы, архимандриты, игумены, архи-

ереи, перомонахи, из которых состояла церковная клиентела Распутина, переживают тяжелые дни. Везде им пришлось увидеть, как против них восставали не только революционная клика, а еще и их пасомые, часто даже их подчиненные. Большинство из них более или менее добровольно сложили с себя свои обязанности; многие в бегах или в заключении.

После непродолжительного ареста петроградскому митрополиту высокопреосвященному Питириму удалось добиться разрешения отправиться для покаяния в один сибирский монастырь. Та же участь постигла московского митрополита, высокопреосвященного Макария, харьковского архиепископа преосвященного Антония, архиепископа Тобольского, преосвященного Варнаву, епископа черниговского, преосвященного Василия и пр.

Пятница, 30 марта.

Самый опасный зародыш, заключающийся в Революции, развивается, вот уже несколько дней, с ужасающей быстротой. Финляндия, Лифляндия, Эстляндия, Польша, Литва, Украина, Грузия, Сибирь требуют для себя независимости или, по крайней мере, полной автономии.

Что Россия обречена на федерализм, это вероятно. Она предназначена к этому беспредельностью своей территории, разнообразием населяющих ее рас, возрастающей сложностью ее интересов. Но нынешнее движение гораздо более сепаратистское, чем областное, скорее сецессионистское, чем федералистское; оно стремится ни больше, ни меньше, как к национальному распаду. Да и Совет всеми силами способствует этому. Как не соблазниться неистовым и глупцам из Таври-

ческого дворца разрушить в несколько недель то, что исторически создано в течение десяти веков.

Французская Революция начала с об'явления Республики единой и неделимой. Этому принципу принесены были в жертву тысячи голов, и французское единство было спасено. Русская Революция берет лозунгом: Россия раз'единенная и раздробленная...

Суббота, 31 марта.

Анархическая пропаганда заразила уже большую часть фронта.

Со всех сторон мне сообщают о сценах возмущения, об убийстве офицеров, о коллективном дезертирстве. Даже на передовой линии фронта группы солдат покидают свои части, чтобы отправиться посмотреть, что происходит в Петрограде или в их деревнях.

Воскресенье, 1 апреля.

Новый военный губернатор Петрограда, генерал Корнилов, старается мало-по-малу взять в руки войска гарнизона. Задача тем более трудная, что большинство офицеров были убиты, лишены погонов или прогнаны. Он назначил на сегодня утром смотр на площади Зимнего дворца и, очень основательно, собрал лишь лучшие элементы, части, в которых дисциплина наименее пострадала.

В первый раз со времени падения императорского режима собираются значительные силы в регулярном строю.

Из окон министерства иностранных дел я присутствую на смотре вместе с Бьюкененом и Нератовым.

Войска,—тысяч десять человек,—одеты довольно хорошо и проходят стройно. Очень мало офицеров.

Все оркестры играют Марсельезу, но медленным темпом, что делает ее зловещей. В каждой роте, в каждой эскадроне я отмечаю несколько красных знамен со следующими надписями: Земля и Воля!... Земля Народу!... Да здравствует Социальная Республика!... На очень немногих я читаю: Война до победы! Над Зимним дворцом развевается огромное красное знамя...

Зрелище необыкновенно поучительное. С точки зрения военной, я так резюмирую свое впечатление: в войсках дух дисциплины не совсем исчез, но они думают меньше о своих военных обязанностях, чем о своих надеждах на политическое и социальное обновление.

С точки зрения исторической и художественной меня занимает контраст. Я напоминаю Бьюкенену и Нератову грандиозную сцену 2 августа 1914 г., когда император появился на балконе этого самого дворца после того, как поклялся на Евангелии и на святой иконе, что он не подпишет мира, пока будет хоть один неприятельский воин на русской территории. В этот торжественный момент я стоял с ним рядом: он был серьезен и сиял. Больше, чем сегодня, огромная площадь была полна толпой солдат, буржуа, рабочих, мужиков, женщин, детей,—и вся эта толпа, склонившись под благословением батюшки-царя, пела гимн „боже, царя храни“.

О, времена ушедшие, о, блеск затменный,
Закатные за горизонтом солнца!

Пакет газет, из которых самая свежая опоздала датой на одиннадцать дней, прибыл из Парижа и подтверждает представление, которое я себе составил по ежедневным резюме, передаваемым по телеграфу: французская публика в восторге от русской революции. Наша пресса лишней раз обнаружила недостаток меры

и здравого смысла. Конечно, раз исчезновение царизма — совершившийся факт, приходилось приноравливаться к новому режиму и скрыть досаду. Следовательно, французскому общественному мнению надлежало сделать вид, будто оно принимает русскую Революцию с доверием и симпатией. Но не надо О с а н н ы! Совет и так уже очень возгордился. Эти чрезмерные похвалы и восхищение в конец вскружат ему голову. Тут виновна главным образом цензура, которой следовало охладить усердие хвалителей. Кроме того, из личного письма, полученного с той же почтой, я узнаю, что в кулуарах Палаты Депутатов, в салонах, в редакциях сэру Джоржу Бьюкенену приписывают честь, будто он вызвал революцию, чтобы положить конец немецким интригам, что неверно. Прибавляют, как и следовало ожидать, несколько критических замечаний по моему адресу; вспоминают, что когда-то французская дипломатия не колебалась в серьезных обстоятельствах прибегать к серьезным средствам, что она тогда не давала себя остановить пустым уважением к законности. Мне противопоставляют пример моего знаменитого предшественника, маркиза де Ла Шешарди, который в 1741 г. не постеснялся смело скомпрометтировать себя связью с национальной партией, чтобы уничтожить немецкое влияние и возвести на императорский трон Елизавету Петровну... Скоро узнают, что революция была самым губительным ударом, какой можно было нанести русскому национализму.

Сегодня вечером у меня обедал принц Шипионе Боргезе, бывший радикальный депутат в Монте Читорно, только-что прибывший в Петроград со своей дочерью, принцессой Сантой, оба очень либеральные и интеллигентные, оба сгорающие от желания видеть своими

глазами революцию... и какую революцию! Другие мои гости: Половцевы, княгиня София Долгорукая, граф Сергей Кутузов, граф Нани Мочениго, Поклевский и др.

Я говорю о хорошем впечатлении, которое оставил во мне смотр сегодня утром. Половцев и Поклевский сообщают мне, наоборот, печальные известия, полученные с фронта.

Принц Боргезе, с которым я долго беседовал после обеда, спрашивает меня, какие черты меня больше всего поражают в русской революции и больше всего отличают ее, по моему мнению, от западных революций. Я ему отвечаю:

— Прежде всего, примите в расчет, что русская революция едва началась и что известные силы, которым суждено сыграть в ней огромную роль, как-то аграрные вождедения, расовые антагонизмы, социальный распад, экономическая разруха, еврейская страстность действуют пока еще скрыто. С такой оговоркой вот что меня больше всего поражает.

И я несколькими примерами иллюстрирую следующие пункты:

1. Радикальное различие психологии революционера латинского или англо-саксонского от революционера-славянина. У первого воображение логическое и конструктивное; он разрушает, чтобы воздвигнуть новое здание, все части которого он предусмотрел и обдумал. У второго оно исключительно разрушительное и беспорядочное; его мечта—воплощенная неопределенность.

2. Восемь десятых населения России не умеют ни читать, ни писать, что делает публику собраний и митингов тем более чувствительной к престижу слова, тем более покорной влиянию вожаков.

3. Болезнь воли распространена в России эпидемически: вся русская литература доказывает это. Русские неспособны к упорному усилию. Война 1812 года была сравнительно непродолжительна. Нынешняя война своей продолжительностью и жестокостью превосходит выносливость национального темперамента.

4. Анархия с неразлучными с ней фантазией, ленью, нерешительностью—наслаждение для русского. С другой стороны, она доставляет ему предлог к бесчисленным публичным манифестациям, в которых он удовлетворяет свою любовь к зрелищам и к возбуждению, свой живой инстинкт поэзии и красоты.

5. Наконец, огромное протяжение страны делает из каждой губернии центр сепаратизма и из каждого города очаг анархии; слабый авторитет, какой еще остается у Временного Правительства, совершенно этим парализуется.

— Но какое же против этого средство?—спрашивает меня Боргезе.

— Надо, чтобы социалисты союзных стран доказали своим товарищам из Совета, что политические и социальные завоевания русской Революции погибнут, если предварительно не будет спасена Россия.

Понедельник, 2 апреля.

Из телеграммы из Парижа я узнаю, что министр снабжения Альбер Тома будет послан с чрезвычайной миссией в Петроград. Его патриотизм, его талант и сверх того, его социалистические убеждения делают его, кажется мне, более квалифицированным, чем кто бы то ни было, чтобы заставить Временное Правительство и Совет выслушать кое-какие неприятные истины. С дру-

гой стороны, он близко увидит русскую революцию и возьмет под сурдинку странный концерт лести и похвал, который она вызвала во Франции.

Сегодня утром я был на интимном обеде у княгини Ж.

Невеселы. Разговор не клеится. Каждый поглощен своими тайными мыслями, которые мрачны. Один только Б. говорит без умолку и, как всегда, выражает свой пессимизм сарказмами.

— Какую радость, — восклицает он, — какую гордость испытываю я, гуляя теперь по городу! Я беспрерывно повторяю себе: отныне все эти дворники, все эти извозчики, все эти рабочие — мои братья... Сегодня утром я встретил банду пьяных солдат; мне хотелось прижать их к своему сердцу.

Повернувшись к князю Ж., он продолжает:

— Михаил Константинович, поторопитесь отказаться от вашего богатства. Погрузитесь вполне лояльно в нищету. Отдавайте скорей ваши земли народу, пока он их не отнял у вас. Полагайте ваше счастье лишь в том, чтобы быть бедным и свободным.

Эта горькая ирония мало нравится аудитории.

Говоря более серьезно, Б. делает со мной обзор общего положения России, главных обозначившихся течений, страшных перспектив, которые открываются со всех сторон. Мы перебираем все вопросы политические, социальные, экономические, религиозные, этнические, которые уже в настоящий момент встают перед русским народом, не считая страшного вопроса войны, который ставит на карту самую жизнь России.

— Я предвижу, — говорю я, — длинный период анархии. После нее — диктатура.

— Да,—отвечает Б.—открылась новая эра в истории России, эра испано-американская.. О, Парфирио Диаз, когда ты придешь?

Я, между прочим, рассказываю ему, что с воскресенья 25 марта в соборе Богоматери в Париже не поют больше Domine, salvum fac Imperatorem nostrum Nicolaum. После Domine, отныне: salvam fac Republicam. Ждут новой формулы для молитвы за Правительство, вышедшее из Революции.

— Формулу нетрудно найти, — возражает Б.:— Domine, salvam fac crapulam nostram ruthenam!

Вторник, 3 апреля.

Милюков очень смущен тем, что происходит в Кронштадте, большой морской крепости, защищающей подступы к Петрограду со стороны Финского залива.

Город (около 55000 жителей) не признает ни Временного Правительства, ни Совета. Войска гарнизона, насчитывающие не менее 20.000 человек, находятся в состоянии открытого возмущения. Перебив половину своих офицеров, они удерживают двести человек их в качестве заложников, которых они принуждают к самым унижительным работам, как: подметание улиц, черная работа в порту.

В Гельсингфорсе та же анархия.

В Шлиссельбурге город управляется повстанческой Коммуной, первым актом которой было договориться с союзом немецких военнопленных. По настояниям этого союза, человек шестьдесят пленных эльзас-лотарингцев, для которых я добился привилегированного положения, были подвергнуты суровому заключению.

В пять часов я делаю визит великому князю Николаю Михайловичу в его дворец, наполненном памятниками наполеоновской эпохи.

После Революции впервые я имею случай беседовать с ним.

Он корчит из себя оптимиста; я на это отвечаю лишь молчанием. Он, впрочем, настаивает не больше, чем полагается, и, чтобы я не считал его слишком ослепленным событиями, он изрекает следующий осторожный вывод:

— Пока такие серьезные люди и патриоты, как князь Львов, Милюков и Гучков останутся во главе Правительства, я буду преисполнен надежды. Если они не устоят, это будет скачок в неизвестность.

— В первой главе бытия эта неизвестность обозначена точным названием.

— Каким названием?

— Тогу-богу, что значит хаос.

Среда, 4 апреля.

Вчера министр юстиции Керенский отправился в Царское Село лично проконтролировать охрану бывших царя и царицы. Он нашел все в порядке.

Граф Бенкендорф, обер-гофмаршал, князь Долгоруков, гофмаршал, г-жа Нарышкина, обер-гофмейстерица, г-жи Буксгевден и Гендрикова, фрейлины, наконец, швейцарец, наставник цесаревича Жильяр делят заключение со своими монархами. Г-жа Вырубова, которая тоже жила в Александровском дворце, была схвачена, увезена в Петроград и заключена в Петропавловскую крепость в знаменитый Трубецкой бастион.

Керенский беседовал с императором. Именно он спросил его, правда ли, как утверждали немецкие га-

зеты, что Вильгельм II несколько раз советовал ему повести более либеральную политику.

— Как раз наоборот! — воскликнул император.

Беседа продолжалась в самом любезном тоне. Керенский, в конце-концов, даже был очарован приветливостью, естественно, излучающейся из Николая II, и он несколько раз спохватывался, что называл его:

— Государь...

Императрица, напротив, замкнулась в своей холодности.

Отъезд г-жи Вырубовой не подействовал на нее, по крайней мере, так, как можно было ожидать. После того, как она была так страстно, так ревниво привязана к ней, она вдруг взвалила на нее ответственность за все несчастья, постигшие императорскую фамилию в России.

Ненавидистная Энона довела до остального!

Четверг, 5 апреля.

Я отправляю Рибо телеграмму:

„Некоторые петроградские газеты перепечатали статью из „Радикала“, доказывающую необходимость переменить представителя Республики в России. Не мне брать на себя инициативу выразить пожелание по существу вопроса. С другой стороны ваше превосходительство знает меня достаточно, чтобы быть уверенным, что в таких случаях мне чуждо всякое соображение личного характера. Но статья „Радикала“ налагает на меня долг сказать вам, что после того, как я имел высокую честь быть в течение более трех лет представителем Франции в Петрограде, в сознании, что я не щадил никаких усилий, я не испытал бы никакого огорчения, если бы меня освободили от моей тяжелой

задачи и что если бы правительство республики сочло полезным назначить мне преемника, я всеми силами содействовал бы смягчению перехода“.

Несколько мотивов диктуют мне эту телеграмму.

Прежде всего, может быть, интересы службы требуют, чтобы я был уволен от своих обязанностей, ибо я пользовался доверием старого режима и не питаю никакого доверия к новому режиму. Затем я чувствую отсюда кампанию, которую должны вести против меня левые партии Палаты Депутатов. Если я должен быть отозван, я хочу, по крайней мере, забежать вперед; я всегда ценил афоризм Сент-Бева: „Надо покидать раньше, чем нас покинут“...

Сегодня большая церемония на Марсовом поле, где торжественно погребают жертвы революционных дней, „народных героев“, „мучеников свободы“. Длинный ров вырыт вдоль поперечной оси площади. В центре трибуна, задрапированная красным, служит эстрадой для правительства.

Сегодня с утра огромные, нескончаемые шествия с военными оркестрами во главе, пестря черными знаменами, извивались по городу, собрав по больницам двести десять гробов, предназначенных для революционного апофеоза. По самому умеренному расчету число манифестантов превышает девятьсот тысяч. А между тем, ни в одном пункте по дороге не было беспорядка или опоздания. Все процессии соблюдали при своем образовании, в пути, при остановках, в своих песнях, идеальный порядок. Несмотря на холодный ветер, я хотел видеть, как они будут проходить по Марсову полю. Под небом, закрытым снегом и разрываемым порывами ветра, эти бесчисленные толпы, которые медленно двигаются, эскортируя красные гробы,

представляют зрелище необыкновенно величественное. И, еще усиливая трагический эффект, ежеминутно в крепости грохочет пушка. Искусство инсценировки врожденно у русских.

Но что больше всего поражает меня, так это то, чего недостает церемонии: духовенства. Ни одного священника, ни одной иконы, ни одной молитвы, ни одного креста. Одна только песня: Рабочая Марсельеза.

С архаических времен святой Ольги и святого Владимира, с тех пор, как в истории появился русский народ, впервые великий национальный акт совершается без участия церкви. Вчера еще религия управляла всей публичной и частной жизнью; она постоянно врывается в нее со своими великолепными церемониями, со своим обаятельным влиянием, с полным господством над воображением и сердцами, если не умами и душами. Всего несколько дней тому назад эти тысячи крестьян, солдат, рабочих, которых я вижу проходящими теперь передо мной, не могли пройти мимо малейшей иконы на улице без того, чтобы не остановиться, не снять фуражки и не осенить груди широким крестным знаменем. А какой контраст сегодня! Но приходится ли этому удивляться? В калейдоскопе идей русский всегда ищет крайнее, абсолютное.

Мало-по-малу Марсово поле пустеет. Темнеет, с Невы надвигается бурый холодный туман. Площадь, снова ставшая пустынной, принимает зловещий вид. Возвращаясь в посольство опустелыми аллеями Летнего сада, я говорю себе, что я, может быть, был только свидетелем самых знаменательных фактов современной истории. То, что похоронили в красных гробах, это—

вся византийская и московская трагедия русского народа, это—все прошлое святой Руси...

Пятница, 6 апреля.

В то время, как войска на фронте с каждым днем все больше разлагаются под влиянием социалистической пропаганды, маленькая армия, которая сражается на границе Курдистана под начальством генерала Баратова, мужественно продолжает свое трудное дело.

Заняв Керманшах, затем Кизилраба, она недавно проникла в Месопотамию и соединилась с англичанами к северо-востоку от Багдада.

В общей раме войны эта блестящая операция имеет, очевидно, лишь эпизодическое значение; но это, может быть, последний подвиг, который историки смогут вписать в военные летописи России.

Суббота, 7 апреля.

Вчера Соединенные Штаты об'явили войну Германии.

Мы поздравляем друг друга, Милюков и я, с этим событием, которое отнимает у германских держав последний шанс на спасение. Я настаиваю пред ним на том, чтобы Временное Правительство распространило в неограниченном количестве во всех слоях населения России прекрасное послание, с которым президент Вильсон обратился к Конгрессу и которое кончается так:

„Оставаться нейтральным дальше невозможно, когда поставлены на карту мир всего мира и свобода народов. Итак, мы вынуждены принять бой с естественным врагом мира и свободы. Мы пожертвуем для этого нашей жизнью, нашим состоянием, всем, что мы имеем, в гордом сознании, что настал, наконец, день, когда

Америка может пролить свою кровь за благородные принципы, из которых она возникла“.

В то время, как американская демократия говорит таким великолепным языком, русская революция окончательно утрачивает чувство патриотического долга и национальной чести.

Сегодня пополудни бывший гвардейский Волынский полк, который первый возмутился 12 марта и коего пример увлек остальной гарнизон, организовал в Мариинском театре концерт в пользу жертв Революции. Было послано очень корректное приглашение послам Франции, Англии и Италии. Мы решили пойти на этот концерт, чтобы не казалось, будто мы презираем новый режим: впрочем, Временное Правительство принимает участие в торжестве.

Как преобразился Мариинский театр! Могли ли когда-либо его искусные машинисты осуществить такую чудесную перемену декораций! Все императорские гербы, все золотые орлы сорваны; капельдинеры сменили пышную придворную ливрею на жалкие серые пиджаки.

Зал переполнен. Публика: буржуа, студенты, солдаты. Военный оркестр занимает сцену; солдаты Волынского полка размещены на заднем плане.

Нас вводят в левую ложу авансцены, которая была ложей императорской фамилии, где я видел столько раз великого князя Бориса, великого князя Димитрия, великого князя Андрея, аплодирующими Кшесинской, Карсавиной, Спесивцевой. Напротив, в ложе министра Двора, собрались все министры в простых пиджаках. И я вспоминаю старого графа Фредерикса, такого расшитого, такого любезного, который в настоящее время содержится под стражей в одной больнице и, страдая

тяжелой болезнью мочевого пузыря, вынужден подвергаться самым унижительным операциям в присутствии двух тюремщиков. Я вспоминаю также его супругу, симпатичную графиню Гедвигу Алоизовну, которая просила у меня убежище в моем посольстве и находится в агонии в лазарете; генерала Воейкова, коменданта императорских дворцов, заключенного в крепости,—всех этих блестящих адъютантов, конногвардейцев и кавалергардов, которые теперь погибли, находятся в заключении или в бегах.

Но интерес всего зала сосредоточен на большой императорской ложе против сцены, ложе торжественных спектаклей. В ней сидят человек тридцать: старые мужчины, несколько старых дам, лица серьезные, худые, странно выразительные, незабываемые, удивленно озирающие публику. Это герои и героини терроризма, которые еще двадцать дней тому назад жили в ссылке в Сибири, в заключении, в Шлиссельбурге или в Петропавловской крепости. Тут: Морозов, Лопатин, Вера Фигнер, Вера Засулич и пр. Я с ужасом думаю о всех физических страданиях и нравственных мучениях, перенесенных в молчании, погребенных забвением, которые представляет эта группа. Какой эпилог для „Записок“ Кропоткина, для „Воспоминаний из Мертвого Дома“ Достоевского!

Концерт начинается Марсельезой, которая теперь сделалась русским гимном. Зал дрожит от аплодисментов и криков: „Да здравствует Революция“. Ко мне обращены несколько криков: „Да здравствует Франция“.

Затем длинная речь министра юстиции Керенского. Искусная речь, в которой тема о войне затупевана социалистической фразеологией; декция резкая, отрывистая; жест редкий, неожиданный, повелительный. Боль-

шой успех, который вызывает выражение удовольствия на бледном, напряженном лице оратора.

В следующем затем антракте Бьюкенен говорит мне:

— Пойдем засвидетельствовать почтение правительству в его ложу. Это произведет хорошее впечатление.

Лишь только кончился антракт, мы вернулись в свою ложу.

Шопот симпатии и какого-то благоговения пронесся по залу; какая-то безмолвная овация.

Это — Вера Фигнер появилась на сцене, на месте дирижера оркестра. Очень простая, с гладко причесанными седыми волосами, одетая в черное шерстяное платье с белой косынкой, она похожа на знатную старую даму. Ничто не обнаруживает в ней страшной нигилистки, какой она была некогда, во время своей молодости. Она, впрочем, из хорошей семьи, близкой к знати.

Тоном спокойным, ровным, без малейшего жеста, без малейшего повышения голоса, без единого знака, в котором промелькнули бы резкость или напыщенность, горечь злопамятности или гордости победы, она поминает бесчисленную армию всех тех, кто безвестно пожертвовал жизнью для настоящего торжества Революции, кто анонимно погиб в государственных тюрьмах и на каторге в Сибири. Мартиролог развертывается как литания, как мелания. Последние фразы, произнесенные более медленно, имеют непередаваемый оттенок грусти, покорности, жалости. Может быть, одна только славянская душа способна на такой резонанс. Похоронный марш, тотчас после ее речи исполненный оркестром, как будто служит продолжением речи, патетический эффект которой переходит таким образом в религиозную эмоцию. Большинство присутствующих пла-

чут. В следующем затем антракте мы уходим, так как объявляют, что Чхеидзе, оратор „трудовой“ группы, будет говорить против войны, что ожидаются споры и пр. Здесь нам больше не место. Затем, воспоминание, которое оставила в нас эта церемония, слишком редкого качества: не будем его портить.

В пустых кулуарах, по которым я прохожу торопливо, мне так и кажется, будто я вижу призраки мои! эlegantных знакомых, которые столько раз приходили сюда баюкать свои мечты фантазиями танца и были последним очарованием навсегда исчезнувшего общества.

Воскресенье, 8 апреля.

Исчисляют приблизительно в один миллион количество лиц, присутствовавших в прошлый четверг на похоронной церемонии на Марсовом поле. Гражданский характер похорон не вызвал никакого народного протеста. Одни только казаки заявили, что совесть запрещала им принять участие в похоронах без образа Христа, и остались в своих казармах.

Но на следующий день странное беспокойство распространилось среди простонародья, в особенности, среди солдат,—чувство, в котором были: осуждение, угрызение совести, смутная тревога, суеверные предчувствия. Теперь сомнений не было: эти похороны без икон и попов были святотатством. Бог покарает за это. А, казаки это поняли! Они не дали себя вовлечь в эту преступную авантюру; они всегда смекают!... И потом, не нечестие ли выкрасить гробы в красный цвет? Есть лишь два христианских цвета для гробов: белый и желтый; это так известно, что об этом даже не упоминается в катехизисе. Таким образом, этим дьявольским измышлением выкрасить гробы в красный цвет осквернили покой-

ников. Этого только не доставало!.. Вся церемония на Марсовом поле, должно быть, была устроена евреями!..

Этот протест публичного мнения сделался настолько распространенным и сильным, что Временное Правительство сочло долгом дать ему удовлетворение. По его распоряжению священники пришли вчера прочитать заупокойные молитвы на могилах Марсова поля.

Сегодня вечером я обедал у г-жи П. Человек двенадцать приглашенных, все близких знакомых. Среди них адъютант великого князя Николая Николаевича, князь Сергей Б., который приехал с Кавказа.

В течение всего вечера общий, очень оживленный разговор, в котором каждый выражает свое мнение о ходе событий. Вот что я удержал в памяти из этого экспансивного и априорного совещания:

„Положение много ухудшилось в последнее время. Страна, взятая во всей совокупности, не примет позорного мира, каким был бы мир сепаратный. Но она совершенно потеряла интерес к войне и интересуется лишь внутренними вопросами и прежде всего—вопросом аграрным.. Надо, в самом деле, признаться, что война не имеет больше цели для русского народа. Константинополь, святая София, Золотой Рог? Но никто не думает об этой химере, кроме Милукова, и то единственно потому, что он—историк... Польша? Она больше не имеет ничего общего с русским государством с тех пор, как Временное Правительство объявило ее независимость. Ей, следовательно, придется одной осуществлять впредь свое территориальное единство; ей придется впредь принять девизом: *Polonia farà da se...* Что касается Литвы, Курляндии и даже Лифляндии, на их будущее смотрят с абсолютным равнодушием под предлогом, что это—не русские области. Везде звучит

та же нота: в Москве и в Петрограде, в Киеве и Одессе; везде то же уныние, та же утрата национального и патриотического чувства... Армия производит впечатление не более утешительное. В гарнизонах внутри страны полная недисциплинированность, праздность, бродяжничество, дезертирство. До последнего времени войска на фронте сохраняли хороший дух. Недавнее поражение на Стоходе показало, что даже на передовых линиях войска потеряли нравственную спайку, ибо нет никакого сомнения, что один полк отказался сражаться... Что сказать о беспорядке, который царит в общем управлении, в службе транспорта, в продовольствии, в промышленности?..“

На попытки мои опровергнуть кое-какие из этих пессимистических утверждений г-жа П. отвечает:

— Не создавайте себе иллюзии. Несмотря на все громкие фразы официальных речей, война умерла. Только чудо могло бы ее воскресить.

— Не может ли это чудо придти из Москвы?

— Москва не лучше Петербурга.

Понедельник, 9 апреля.

Вот уже несколько дней идет оживленная полемика между Временным Правительством и Советом, точнее между Милюковым и Керенским, о „целях войны“.

Совет требует, чтобы Правительство немедленно стоворилось с союзниками относительно открытия мирных переговоров на следующих основаниях:

„Ни аннексии, ни контрибуции, свободное самоопределение народов“.

Я настраиваю, как могу, Милюкова, указывая ему на то, что требования Совета равносильны отпадению

России и что если бы дали этому произойти, это было бы вечным позором для русского народа:

— У вас есть,—говорю я,—более десяти миллионов человек под оружием; вы пользуетесь поддержкой восьми союзников, из которых большинство пострадало гораздо больше, чем вы, но более, чем когда-либо, полны решимости бороться до полной победы. К вам прибывает девятый союзник и какой? Америка! Эта ужасная война была начата за славянское дело. Франция полетела вам на помощь, ни на миг не торгуясь из-за своей поддержки... И вы первые оставите борьбу!

— Я до такой степени согласен с вами,—протестует Милюков,—что, если бы требованиям Совета суждено было восторжествовать, я тотчас отказался бы от власти.

Прокламация Временного Правительства к русскому народу, опубликованная сегодня утром, пытается устранить затруднение, скрывая под туманными формулами свое намерение продолжать войну.

Я указываю Милюкову на неопределенность и робость этих формул; он мне отвечает:

— Я считаю большим успехом, что вставил их в прокламацию. Мы вынуждены быть очень осторожны по отношению к Совету, ибо мы не можем еще рассчитывать на гарнизоны для нашей защиты.

И, действительно, Совет—хозяин Петрограда.

Среда, 11 апреля.

У меня обедают: лидер „кадетской“ партии, Василий Маклаков, княгиня София Долгорукая, принц Шипионе Боргезе, художник и критик искусства Александр Николаевич Бенуа.

Маклаков, видевший ближе, чем кто-либо, революцию, рассказывает нам ее зарождение:

— Никто из нас,—говорит он,—не предвидел огромности движения; никто из нас не ждал подобной катастрофы. Конечно, мы знали, что императорский режим подгнил, но мы не подозревали, чтобы это было до такой степени. Вот почему ничего не было готово. Я говорил вчера об этом с Максимом Горьким и Чхеидзе: они до сих пор еще не пришли в себя от неожиданности.

— В таком случае, — спрашивает Боргезе, — это воспламенение всей России было самопроизвольное?

— Да, вполне самопроизвольное.

Я замечаю, что в 1848 г. революция точно так же не удивила никого больше, чем вождей республиканской партии: Ледрю-Роллена, Армана Марраста, Луи Блана; я прибавляю:

— Нельзя никогда предсказать, что извержение Везувия произойдет в такой-то день, в такой-то час. Это уже много, если различают предварительные признаки, отмечают первые сейсмические волны, возвещают, что извержение неизбежно и близко. Тем хуже для обитателей Помпеи и Геркуланума, которые не довольствуются этими предупреждениями ¹⁾.

В Царском Селе присмотр за бывшим царем и царицей становится суровее. Император все еще необычайно индифферентен и спокоен. С спокойным, беззаботным видом он проводит день за перелистыванием газет, за курением папирос, за комбинированием

¹⁾ Русские социалисты в 1917 году были также захвачены враждебностью, как и французские республиканцы в 1848 г. В реферате, прочитанном г. Керенским в Париже 12 марта 1920 года, он заявляет, что его политические друзья собрались у него 10 марта 1917 года и единодушно пришли к заключению, что революция в России неизбежна. Через два дня царизм был свергнут. (См. „Journal du peuple“, от 14 марта 1920 г.).

пасьянсов или играет с детьми. Он как будто испытывает известное удовольствие от того, что его освободили, наконец, от бремени власти.

Диоклетиан в салоне, Карл V в Сан-Юсте не был более безмятежным. Императрица, наоборот, находится в состоянии мистической экзальтации; она беспрерывно повторяет:

— Это бог посылает нам это испытание. Я принимаю его с благодарностью для моего вечного спасения.

Случается, однако, что она не в состоянии подавить вспышки своего негодования, когда видит, как исполняются суровые приказания, отнимающие у императора даже в ограде дворца всякую свободу движения. Иногда это часовой, преграждающий ей путь при входе в какую-нибудь галлерею; иногда это гвардейский офицер, который после того, как победил вместе с императором, приказывает ему вернуться в свою комнату. Николай II повинуетея без единого слова упрека. Александра Федоровна становится на дыбы и возмущается как от оскорбления; но она скоро овладевает собой и успокаивается, прошепав:

— Это тоже мы должны перенести!.. Христос разве не выпил чаши до дна?

Суббота, 14 апреля.

Три французских депутата-социалиста — Мутэ, Кашен и Лафон, — прибыли вчера из Парижа через Берген и Торнео; они приехали проповедывать Совету благоразумие и патриотизм. Два члена Labour Party, О'Гради и Торн, сопровождают их.

Мутэ — адвокат; Кашен и Лафон — преподаватели философии; О'Гради — столяр - краснодеревец, Торн —

свинцовых дел мастер. Таким образом, французский социализм представлен интеллигентами, классиками по образованию; английский социализм—людьми ремесла matter-of-fact-men. Теория—с одной стороны, реализм—с другой.

Мои три компатриота явились сегодня утром ко мне в кабинет. Мы прекрасно спелись друг с другом на счет задачи, которую им предстоит здесь выполнить. Главное, что их беспокоит, это вопрос о том, способна ли Россия продолжать войну и можно ли еще надеяться с ее стороны на усилие, которые позволило бы нам осуществить нашу программу мира. Я им излагаю, что если они сумеют снискать доверие Совета, если они поговорят с ним с благожелательной твердостью, если им удастся доказать ему, что судьба Революции связана с судьбой войны, русская армия сможет опять играть важную роль, роль массы, если не активного фактора, в наших стратегических планах. Что касается нашей программы мира, мы должны будем, очевидно, приноровить ее к новым условиям задачи. Со стороны Запада я не вижу никакой причины отказаться от наших претензий и умерить наши надежды, так как американская помощь должна приблизительно компенсировать слабость русской помощи. Но со стороны Восточной Европы и Малой Азии нам придется, без сомнения, пожертвовать кое-какими из наших грез. Я, впрочем, полагаю, что если мы сумеем за это взяться, если наша дипломатия во-время проделает эволюцию, которая, рано или поздно станет неизбежной, эта жертва не обойдется Франции слишком дорого. Они об'являют, что вполне согласны со мною.

В час они пришли в посольство позавтракать в интимном кругу. Все, что они мне сообщают о со-

стоянии французского общественного мнения, удовлетворительно.

Видя их в моих салонах, я думаю о том, какое странное и парадоксальное зрелище представляет их присутствие. Двадцать пять лет социалистическая партия не перестает нападать на франко-русский союз, а сегодня три социалистических депутата приехали защищать его... от России.

Расставшись со мной, они отправляются на Марсово поле возложить венок на могилу жертв Революции, как некогда посланцы французской Республики отправлялись в Петропавловскую крепость возложить венок на могилу Александра III. Как писал Сент-Бев: „Надо только жить, чтобы видеть все и противоположное всему“.

Воскресенье, 15 апреля.

По православному календарю сегодня воскресенье, первый день Пасхи. Святая неделя не была отмечена никакими инцидентами, никакими нововведениями, кроме того, что театры, закрывавшие свои двери на все последние пятнадцать дней поста, оставались открытыми до святой среды.

Этой ночью все петроградские церкви отправляли с обычной пышностью торжественную службу Воскресения. За отсутствием митрополита Питирима, уже заключенного в монастырь в Сибири, архиерейское служение совершил в Александро-Невской Лавре преосвященный Тихон, архиепископ ярославский, а два викарных епископа—преосвященный Геннадий и преосвященный Вениамин—служили в Исаакиевском и Казанском соборах. Толпа, теснившаяся в этих двух больших соборах, была не меньше, чем в предыдущие годы.

Я отправился в Казанский собор. Это было то же зрелище, что и при царизме, та же величественная пышность, та же литургическая торжественность. Но я никогда еще не наблюдал такого интенсивного выражения русского благочестия. Вокруг меня большинство лиц поражали выражением горячей мольбы или удрученной покорности. В последний момент службы, когда духовенство вышло из сиявшего золотом иконостаса и раздался гимн: „Слава святой Троице! Слава во веки! Наш Спаситель Христос воскрес!“, волна возбуждения подняла верующих. И в то время, как они, по обычаю, целовались, повторяя: „Христос воскрес“, я видел, что многие из них плакали.

Мне сообщают, что зато в рабочих кварталах—на Коломенской, на Галерной, на Выборгской стороне—несколько церквей были пусты.

Французские социалистические депутаты и их английские товарищи были приняты сегодня пополудни Советом.

Прием был холодный, даже до того холодный, что Кашен растерялся и, чтобы сделать возможным разговор, счел долгом „выбросить балласт“. А этот „балласт“ был ни больше, ни меньше, как Эльзас-Лотарингия, возвращение коей Франции не только не было заявлено, как право, но представлено, как простая возможность, подчиненная всякого рода условиям, как, например, плебисцит. Если в этом состоит вся помощь, которую наши депутаты приехали оказать мне, они лучше бы сделали, если бы воздержались от своей поездки.

В этом же заседании Совета Плеханов, прибывший из Франции одновременно с французскими и английскими делегатами, появился в первый раз после сорока лет изгнания перед русской публикой.

Плеханов — благородная фигура революционной партии, основатель русской социал-демократии; это от него русский пролетариат услышал первые призывы к единению и организации. Ему поэтому была устроена триумфальная встреча, когда он третьего дня вечером вышел из вагона на Финляндском вокзале и Временное Правительство явилось официально приветствовать его.

Точно так же, когда он сегодня явился в Таврический дворец, со всех сторон раздались приветствия. Но когда он заговорил о войне и открыто взял себе титул социалиста-патриота и заявил, что у него так же мало охоты покориться тирании Гогенцоллернов, как и деспотизму Романовых, наступило глубокое молчание, и шопот пробежал по многим скамьям.

Понедельник, 16 апреля.

Я просил трех социалистических депутатов придти ко мне сегодня утром и указал им на опасность слишком примирительных заявлений, до которых договорился вчера один из них перед Советом. Кашен мне отвечает:

— Если я говорил так, так это потому, что, говоря вполне искренно, я не мог поступить иначе. Вместо того, чтобы принять нас, как друзей, нас подвергли настоящему допросу, и в таком тоне, что я предвидел момент, когда мы будем вынуждены уйти.

Так как они должны сегодня опять быть в Таврическом дворце, они обещают мне по возможности взять назад свои вчерашние уступки.

Когда я в полдень пришел в министерство иностранных дел, Милюков тотчас заговорил со мной об этих прискорбных уступках.

— Как хотите вы, — говорит он мне, — чтобы я боролся с претензиями наших большевиков, если французские социалисты сами отказываются от борьбы.

Вторник, 17 апреля.

Министр юстиции Керенский завтракает в посольстве вместе с Кашеном, Мутэ и Лафоном.

Керенский принял мое приглашение лишь с тем условием, чтобы он мог уйти, как только завтрак будет кончен, потому что он должен в два часа отправиться в Совет. Важно, чтобы он вошел в контакт с моими тремя депутатами.

Разговор тотчас заходит о войне. Керенский излагает то, что составляет сущность его разногласия с Милюковым, а именно: союзники должны пересмотреть их программу мира, чтобы приноровить ее к концепции русской демократии. Идеи, которые он развивает для обоснования своего тезиса, идеи „трудовой“ партии, которую он представлял в Думе и которая является по преимуществу партией крестьян, партией, девиз которой: Земля и Воля. С указанной оговоркой он энергично высказывается за необходимость продолжать борьбу с немецким милитаризмом.

Мы его слушаем, не слишком ему возражая. Я, впрочем, догадываюсь, что в глубине души все мои гости-социалисты согласны с ним. Что касается меня, то, не зная еще, какую позицию поручено занять Альберу Тома по отношению к русскому социализму, я соблюдаю осторожность.

Едва подали кофе, как Керенский поспешно отправляется в Совет, где апостол интернационального марксизма, знаменитый Ленин, прибывший из Швейцарии

через Германию, совершит свое политическое возвращение.

Среда, 18 апреля.

Милюков говорит мне сегодня утром с сияющим видом:

— Ленин вчера совершенно провалился в Совете. Он защищал тезисы нацифизма с такой резкостью, с такой бесцеремонностью, с такой бестактностью, что вынужден был замолчать и уйти освистанным... Уже он теперь не оправится.

Я ему отвечаю на русский манер:

— Дай бог!

Но я боюсь, что Милюков лишний раз окажется жертвой своего оптимизма. В самом деле, приезд Ленина представляется мне самым опасным испытанием, какому может подвергнуться русская Революция.

Четверг, 19 апреля.

Генерал Брусилов обратился к князю Львову со следующей любопытной телеграммой:

„Солдаты, офицеры, генералы и чиновники Юго-Западной армии, собравшись, постановили довести до сведения Временного Правительства свое глубокое убеждение, что местом созыва Учредительного Собрания должна быть, по всей справедливости, первая столица русской земли. Москва освящена в народном сознании важнейшими актами нашей национальной истории; Москва исконно русская и бесконечно дорога русскому сердцу. Созвать Учредительное Собрание в Петрограде, в этом городе, который по своему чиновничьему и международному характеру всегда был чужд русской жизни, было бы жестом нелогичным и неестественным, противным всем стремлениям русского народа. Я от всей души присоединяюсь к этой резолюции и заявляю,

в качестве русского гражданина, что считаю конченным петербургский период русской истории.

Брусилов“.

Пятница, 20 апреля.

Французские социалистические депутаты несколько охладевают к русской Революции с тех пор, как наблюдают ее вблизи. Пренебрежительный прием, встреченный ими со стороны Совета, несколько охладил их восхищение. Они сохраняют, однако, огромную дозу иллюзий: они еще верят в возможность гальванизировать русский народ „смелой демократической политикой, ориентированной на интернационализм“.

Я попытаюсь доказать им их заблуждение:

— Русская Революция по существу анархична и разрушительна. Предоставленная самой себе, она может привести лишь к ужасной демагогии черни и солдатчины, к разрыву всех национальных связей, к полному развалу России. При необузданности, свойственной русскому характеру, она скоро дойдет до крайности: она неизбежно погибнет среди опустошения и варварства, ужаса и хаоса. Вы не подозреваете огромности сил, которые теперь разнузданы... Можно ли еще предотвратить катастрофу такими средствами, как созыв Учредительного Собрания или военный переворот? Я сомневаюсь в этом. А между тем, движение еще только начинается. Игак, можно более или менее овладеть им, задержать, маневрировать, выиграть время. Передышка в несколько месяцев имела бы капитальную важность для исхода войны... Поддержка, которую вы оказываете крайним элементам, ускорит окончательную катастрофу.

Но я скоро замечаю, что проповедую в безвоздушное

пространство: мне недостает красноречия Церетелли и Чхеидзе, Скобелевых и Керенских ¹⁾).

Суббота, 21 апреля.

Когда Милюков недавно уверял меня, что Ленин безнадежно дискредитировал себя перед Советом своим необузданным пораженчеством, он лишний раз был жертвой оптимистических иллюзий.

Авторитет Ленина, кажется, наоборот, очень вырос в последнее время. Что не подлежит сомнению, так это—то, что он собрал вокруг себя и под своим начальством всех сумасбродов революции; он уже теперь оказывается опасным вождем.

Родившийся 23 апреля 1870 г. в Симбирске, на Волге, Владимир Ильич Ульянов, называемый Лениным, чистокровный русак. Его отец, мелкий провинциальный дворянин, занимал место по учебному ведомству. В 1887 году его старший брат, замешанный в дело о покушении на Александра III, был приговорен к смертной казни и повешен. Эта драма дала направление всей жизни молодого Владимира Ильича, который в это время кончал курс в Казанском университете: он отдался душой и телом революционному движению. Низвержение царизма сделалось с этих пор его навязчивой идеей, а евангелие Карла Маркса—его молитвенником. В январе 1897 года присматривавшая за ним

¹⁾ В газете „L'Heure“, от 5 июня 1918 г., Марсель Кашен так резюмировал наши разговоры:

„В то время, как мы, Мутэ и я, говорили ему, что необходимо сделать еще усилие в демократическом направлении, чтобы попытаться поднять на ноги Россию, г. Палеолог пессимистически отвечал нам: Вы создаете сами себе иллюзию, полагая, что этот славянский народ оправится. Нет! Он с этого момента осужден на разложение. В военном отношении вам больше нечего ждать от него. Никакое усилие не может его спасти: он идет к гибели; он следует своему историческому пути, его подстерегает анархия. И на долгие годы, никто не может представить себе, что будет с этим народом... Что касается нас, мы не хотели так огчапваться в славянской душе“

полиция сослала его на три года в Минусинск, на Верхнем Енисее, у монгольской границы. По истечении срока ссылки ему разрешено было выехать из России и он поселился в Швейцарии, откуда он часто приезжал в Париж. Неумоимо деятельный, он скоро нашел пламенных последователей, которых он увлек культом интернационального марксизма. Во время бурных волнений 1905 года он в известный момент думал, что настал его час и тайно прибыл в Россию. Но кризис круто оборвался; то была лишь прелюдия, первое пробуждение народных страстей. Он снова вернулся в изгнание.

Утопист и фанатик, пророк и метафизик, чуждый представлению о невозможном и абсурдном, недоступный никакому чувству справедливости и жалости, жестокий и коварный, безумно гордый, Ленин отдает на службу своим мессианистическим мечтам смелую и холодную волю, неумолимую логику, необыкновенную силу убеждения и умение повелевать.

Судя по тому, что мне сообщают из его первых речей, он требует революционной диктатуры рабочих и крестьянских масс; он проповедует, что у пролетариата нет отечества и от всей души желает поражения русской армии. Когда его химерам противопоставляют какое-нибудь возражение, взятое из действительности, у него на это есть великолепный ответ: „Тем хуже для действительности“. Таким образом, напрасный труд хотеть ему доказать, что, если русская армия будет уничтожена, Россия окажется добычей в когтях немецкого победителя, который, вдоволь насытившись и поиздевавшись над ней, оставит ее в конвульсиях анархии. Субъект тем более опасен, что говорят, будто он целомудрен, умерен, аскет. В нем есть,—каким я его себе представляю,—черты Саванароллы, Марата, Бланки и Бакунина.